

# СУХОЙ ОВРАГ

*Вера*

Встретить  
любовь  
в 1937-м

АЛИСА КЛИМА

Вечные семейные ценности.  
Исторический роман Алисы Клима

Алиса Клима  
**Сухой овраг. Вера**

«ЭКСМО»

2026

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Клима А.**

Сухой овраг. Вера / А. Клима — «Эксмо», 2026 — (Вечные семейные ценности. Исторический роман Алисы Клима)

ISBN 978-5-04-247861-1

Тридцатые годы XX века. Между юной Верой и красавцем комбригом Ларионовым всегда стояли непреодолимые барьеры: разница в социальном положении, возрасте, взглядах... Но ничто не помешало им полюбить друг друга. Теперь, 10 лет спустя, Ларионов — начальник трудового лагеря, а первая любовь осталась только в воспоминаниях. Ирина — новая узница ГУЛАГа — врывается в его жизнь и возрождает эхо забытой любви. Правда, Ирина видит в Ларионове лишь палача. Или предпочитает так думать?.. Ведь зона — не место для счастья. Однако способность любить может изменить многое. Даже в глухой Сибири, в центре жестокой эпохи, любовь возрождает главное: надежду.

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-247861-1

© Клима А., 2026  
© Эксмо, 2026

# Содержание

Глава 1	6
Глава 2	17
Глава 3	23
Конец ознакомительного фрагмента.	25

# Алиса Клима Сухой овраг. Вера

Дизайн обложки *Я. Клыга*

© Клима А., текст, 2026

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2026

\* \* \*

## Глава 1

Ларионов сидел в натопленном кабинете за обтянутым зеленым сукном рабочим столом, задумчиво глядя поверх стакана остывшего чая в мельхиоровом подстаканнике. Подле стакана примостилось блюдце с двумя огромными кривыми кусками грубого сахара, напомиравшего нафталин. Переполненная окурками серебряная пепельница внушительных размеров занимала привычное место с левой стороны. Ларионов предпочитал держать папиросу в левой руке, когда читал или писал. За три года работы начальником небольшого – в две с половиной тысячи с лишним человек – лагпункта все ему опостылело, наскучило. Даже еда, приготовленная заключенной – поварихой Валькой Комаровой – из продуктов, специально для него привезенных из самой Москвы, его не радовала, а наоборот, была противна – до того неестественной она казалась Ларионову в условиях лагеря, где все было гадко.

Всякий раз, когда Ларионов задавался этим неприятным и волнующим его вопросом – отчего ему все стало противно здесь? – он, словно сам боясь ответа, отталкивал от себя правду, стараясь забыться. И тогда он открывал свою инкрустированную слоновой костью флягу с армянским коньяком, отправленным таким же специальным заказом в лагпункт, и выпивал.

И в это позднее сумрачное холодное утро Ларионов, устремив неподвижный взгляд на первый снег за низким окном, достал из внутреннего кармана френча ту самую, некогда принадлежавшую белому офицеру трофейную флягу, подаренную ему, Ларионову, еще на Кавказе ротным Кобылиным. Привычным быстрым движением Ларионов запрокинул флягу и медленно слотнул, прикрыв глаза от наступившего ненадолго облегчения. Коньяк приятно и равномерно разогрел горло и, расплывшись уютным теплом в груди и плечах, добежал до самых лодыжек. Слегка успокоившись, Ларионов с удовольствием раскурил папиросу и наконец окинул взглядом «дела» новичков.

Ларионов был не в духе с утра, так как прибывал обоз с новыми заключенными, и особенно неприятно было то, что среди них большинство были «политические», да еще и несколько старых или хворых женщин.

– Паздеев! – крикнул он, и из-за двери быстро появился молодой и растерянный сержант с винтовкой, косящим глазом и крупным алым ртом, какие обыкновенно бывают у очень белокожих и юных людей.

– Вызывали, товарищ майор? – спросил Паздеев, особенно тщательно выговаривая слова и при этом заметно грассируя.

Ларионов даже не взглянул на Паздеева, продолжив перебирать бумаги. В зубах его дымилась папироса, на лице читались следы долговременной усталости. В комнате висел дым.

– Позови-ка ко мне Кузьмича. Живо. Восемь уже – скоро обоз придет. Конвой накормить в столовой. И скажи Комаровой, чтобы обед наладила. К вечеру комиссия из Москвы изволит.

– Слушаюсь, – услужливо отчеканил Паздеев и исчез за дверью.

Через несколько минут дверь снова отворилась, и в кабинет Ларионова вошел мужичок лет шестидесяти в старой шинели, обросший и косматый, похожий на таежного егеря. Он снял папаху из овчины, но снял спокойно и неторопливо, как вежливый человек, а не холоп.

– Григорий Александрович, вызывали, что ли?

Ларионов оторвался от бумаг и немного повеселел.

– Входи, Макар Кузьмич, садись. Дело есть.

– Оно ясно, товарищ майор, вызывал бы. Чем могу служить? – спросил Кузьмич, и в глазах его вспыхнул озорной огонек, так как Кузьмич прекрасно знал, чего хотел от него Ларионов и почему был так мрачен в это утро.

Ларионов нахмурился.

– Снова присылают пятерых по пятьдесят восьмой. И старуху опять. Месяц назад только прислали двух – одна в дороге померла, помнишь? А Изольда на ладан дышит, черт бы побрал эту Баронессу. Так еще подсовывают.

Кузьмич налил чаю из самовара и присел на диван. Увидев сахар на столе Ларионова, он привстал.

– Правда твоя, батюшка, тяжело тебе с бабами этими... Да не тужи, подсобим. А сахарку-то все ж пожалуй мне.

Ларионов подтолкнул блюдо.

– Да ешь хоть весь. Только разберись с обозом, Макар Кузьмич, – добавил он негромко, словно стыдясь своей брезгливости. – И скажи Федосье и Балаян-Загурской, чтобы, сам знаешь, бабы все дела уладили с ними – мытье, одежду, харчи... В первый барак к Загурской пусть расселяют – уголовников сегодня не привезут. А ежели мертвые будут, свезти к Прусту, чтобы как положено по уставу осмотрел, составил акты и сделал справки. И тогда уж пусть закапывают. И больных к нему же в лазарет. (Лекарств не дают, чего же желают?)

Кузьмич слушал внимательно, понимая Ларионова, который говорил холодно, но раздраженно, выдавая свое смятение.

– Впрочем, сам знаешь, что я тебе повторяю? – закончил он.

– Так точно, ваше высокоблагородие. – Кузьмич закашлялся и взял папаху, собираясь уходить. Называть Ларионова «высокоблагородием» было дозволено только ему, да и то не при всех. Кузьмич доверял Ларионову так же, как когда-то в юности своему полковому командиру, когда сам служил на Кавказе. – Так лейтенант Грязлов, получается, кхм-кхм, будет принимать?

Ларионов нахмурился еще пуще.

– Пускай, – бросил он отрывисто.

– Так точно, Григорий Александрович. Можно идти? – Кузьмич встал, и половицы под его тяжелым мерным шагом заскрипели.

– Ступай, – сказал Ларионов, уже думая о чем-то другом.

Кузьмич вышел; за дверью мелькнуло любопытное лицо Паздеева (он как новичок был очень взволнован прибытием обоза со «свежими» заключенными и старался уловить все, что происходило с утра). Как только дверь за Кузьмичом закрылась, Ларионов нетерпеливо вынул флягу и быстро сделал еще пару глотков.

Он рад был, что не придется теперь идти принимать обоз, но противное чувство лишь усилилось. Ему было неловко оправдываться перед Кузьмичом, который явно в душе не одобрял, что Грязлов принимал обоз. Грязлов любил осматривать новых женщин и ждал «свеженьких», как голодный пес кость, чтобы приметить себе какую получше для утехи. Ларионов сам сожительствовавал уже больше года с Анисьей – заключенной, осужденной за мошенничество в одном постоялом дворе в Твери, где она служила прежде горничной.

Анисья была красива редкой, дикой красотой. Она была статной и, как любил говорить Кузьмич, сочной женщиной, еще молодой, но смотрящей умудренно на жизнь темными, пленительными очами хищницы, знавшей толк в доставлении мужских удовольствий. Но хотя сам Ларионов «подживал» (по понятиям «блатных») с Анисьей, ему все же казалось, что в том, как хотел и выбирал женщин Грязлов, было что-то гадкое, внушающее отвращение. Впрочем, Ларионов настолько привык к тошнотворности их быта и повсеместной гадости, что мысли о Грязлове теперь лишь мельком пролетали в его голове. Он перестал даже удивляться, что погребение людей в его разумении стало «закапыванием» тел.

Ларионов был красивым молодым мужчиной тридцати четырех лет в чине майора – широкоплечий, высокий и темноволосый, с отличной выправкой. Его правильные, довольно крупные черты лица, прямой длинный нос, темные миндалевидные пронизательные глаза производили неотразимое впечатление. Он уверенно двигался и спокойно произносил слова низким тягучим голосом (плодом не возраста, но опыта и природы), вызывая этим уважение

равных и покорность подчиненных. Его несколько отстраненная и вальяжная, почти пренебрежительная манера держаться в сочетании с офицерским мундиром особенно нравилась женщинам, и он давно это понимал. Ларионов был немногословен и замкнут, но заключенные знали, что в редкие моменты, когда он искренне улыбался, в нем на мгновение проглядывало что-то совершенно отличное от его обыденного внешнего представления. Они также знали, что за спокойными повадками майора скрывался решительный темперамент, который никто не любил на себе испытывать.

Покойные родители его были людьми образованными: отец – земский врач, мать – учительница. Сам Ларионов не окончил школы, но писал грамотно из-за любви к чтению, а главное, он помнил где-то глубоко внутри любовь родителей к культуре, природе и людям. Ларионов считал себя ящиком, в который складывали все, что попадалось на жизненном пути, без разбора и его на то разрешения. Так, нес он в себе и багаж родителей, и то, что познал, воюя за советскую власть, и то, что увидел в лагере. Неудовольствие его и раздражительность происходили оттого, что он не мог примирить в себе все эти знания и решить, что он хотел бы сохранить, а от чего избавиться раз и навсегда.

Когда три года назад Ларионова направили в Западную Сибирь начальником лагпункта в Маслянинском районе, он все еще чувствовал себя причастным к армии. Почти всю сознательную жизнь Ларионов провел в походах и боях: в четырнадцать лет, в восемнадцатом году, он сиротой примкнул к красному обозу, покинув свою деревню близ Болдино на Пекше, и с тех пор не расставался с военной формой и оружием.

В лагере, уже будучи на службе НКВД, он заметил, как изменилась его жизнь. Ларионов долго не мог понять, как и что он должен чувствовать в этих бытовых условиях ИТЛ<sup>1</sup>. На поле боя он всегда знал, кто его враг – сначала белая армия, потом диверсанты. Они стреляли в него, а он в них, обе стороны стремились убить друг друга. В лагере же все эти люди, в особенности женщины, были безоружны; прискорбно одеты, вечно недоедали и дурно пахли – многие болели и умирали до окончания срока заключения; работали как батраки и не только не представляли угрозы для него, но, наоборот, нуждались в защите. Со временем Ларионов стал ощущать, что в лагере была куда более необходима борьба со вшами и клопами, чем с инакомыслием осужденных по пятьдесят восьмой статье УК СССР<sup>2</sup>. Все чаще душу Ларионова стесняли противоречивые мысли. Он уставал от них; такие мысли были еще хуже вшей и клопов: неистребимые, навязчивые, ядовитые.

С одной стороны, Ларионов был доволен судьбою – карьера его хоть и не слишком радовала, но все же продвигалась. Он вроде делал то, во что верил всегда (боролся за власть Советов); он был молод и здоров, полон сил; женщины его любили и довольно быстро, даже без усилий с его стороны, это выказывали. Здесь, в Сибири, несмотря на лагерные условия, у него была своя большая хата, еда и питье, подвозимые напрямиком из Москвы, – то есть такие деликатесы, которые не всегда оказывались на столе даже у партийных лидеров Новосибирска; обслуживали его здесь под руководством бывшей заключенной Федосьи исправно; даже любовница у него здесь была – молодая, красивая и влюбленная, о чем только можно мечтать одинокому офицеру в глуши. С другой стороны, что-то подспудно и неизменно глодало его и выступало неммым вопросом, которого он так страшился, не то чтобы ответить, даже выразить сам вопрос. Он был постоянно подавлен и угрюм без, казалось бы, явных на то причин.

Мысли Ларионова прервал стук в дверь. Не дожидаясь приказа, в комнату ввалились Кузьмич с Паздеевым, запыхавшись и толкаясь.

---

<sup>1</sup> Исправительно-трудовой лагерь. – *Здесь и далее примечания автора.*

<sup>2</sup> Статьи 581, 581а – 581 г и 582–5814 Уголовного кодекса РСФСР 1922 года в редакции 1926 года и более поздних редакциях устанавливали ответственность за контрреволюционную деятельность. Отменена в 1961 году. В народе именовалась просто как «58-я статья» или «58-я».

– Тут *дела* такие, – снимая папаху, быстро начал Кузьмич, – надо вам срочно идти обоз встречать...

– В чем дело?

– Начальство! – возбужденно воскликнул Паздеев из-за плеча Кузьмича.

– Едут с обозом: вам надобно присутствие выказать, Григорий Александрович. А так-то это... всё мы подготовили, никаких подвохов! Федосья Вальке харчей велела наметать для гостей, – резюмировал ситуацию Кузьмич.

«Раньше прикатали». – Ларионов быстро встал и надел фуражку, лицо его было спокойное, безразличное, сухое, словно все его прежние мысли и сомнения вдруг исчезли под руководством многолетней муштры. Кузьмич и Паздеев закрыли за собой дверь. Ларионов сделал несколько глотков из фляги и, кинув беглый взгляд в зеркало с пятнистой амальгамой, поправил еще раз фуражку и вышел вслед за подчиненными.

Снег уже не летел, но было сыро и пасмурно. На плацу между домом Ларионова и первой линией бараков выстроился лагерный гарнизон. Рядом шеренгами стояли и заключенные, ожидавшие утренней переключки и принятия в свои ряды новых экзов. Для всех это было волнующее действо. Лагерные будни и тоска сделали прибытие новеньких каким-то особым событием. Ларионова пополнение лагеря узниками раздражало, но даже он втайне был рад хоть какому-то движению.

Ему, облаканному властью, не было нужды тревожиться из-за прибытия начальства. Напротив, Ларионов знал, что этот приезд может оказаться выгодным для лагеря. Он не стеснялся просить начальство о благах для своего лагпункта. Хотя в чем они состояли? Дополнительные лекарства, мыло, матрацы и прочее барахло, которого не хватало, хоть и значилось в приказах и нормативах. Впрочем, он знал, что надо было просить вдвое больше, чтобы получить половину от того, что необходимо.

Ларионов поравнялся с заместителем начальника лагпункта лейтенантом Кириллом Грязловым, вышагивавшим вдоль шеренг заключенных и бросавшим унижительные комментарии в адрес некоторых из них, часто получая исподтишка насмешливые реплики в ответ.

– Ну что, Киря, готов к приему принцесс-баронесс? – небрежно спросил он Грязлова, надевая перчатки.

Грязлов усмехнулся.

– Новая шинель, товарищ майор?

– Я не баба, Киря, меня глазами мерить не пристало. Строй ребят. Едут.

У ворот засуетились охранники, дозорный с вышки махнул, и ворота отворили. Впереди верхом ехали гости из Москвы – офицеры и сопровождающие, за ними шли пешие конвоиры; запряженный обоз с заключенными и тюками на трех телегах вкатился следом, за ними замыкающие – еще два конвоира. Ларионов и Грязлов быстрым шагом подошли к спешившимся офицерам, отдали честь, доложились и обменялись приветствиями. Затем офицеры стали обниматься с Ларионовым как старые друзья.

Кузьмич поспешил к обозам, за ним сержанты Паздеев и Касымов и начальник ВОХР<sup>3</sup> лейтенант Фролов.

Фролов приказал Паздееву тащить тюки и нагрузил его сверх нормы, а потом подставил ногу, чтобы Паздеев споткнулся и упал. Начальство заметило неловкость Паздеева, Грязлов же, увидав, что начальством было это примечено, тут же подбежал к Паздееву и ударил его прикладом по спине так, что тот снова упал под тяжестью тюков.

Ларионов бросил сухой взгляд на Паздеева.

– Что, на гауптвахте давно не был, сержант?

---

<sup>3</sup> Воснизированной охрана.

Главный офицер, шедший рядом с Ларионовым, взял его под руку. Это был полковник НКВД Туманов, знакомый Ларионова еще с Гражданской войны, успешный и доверенный человек с Лубянки.

– Ладно тебе, Гриша, потом всех построишь. Расскажи лучше, как ты. Уж сто лет не виделись с тех пор, как последний раз ты был в Москве. Вот, решил сюрпризом!

Ларионов улыбнулся впервые за весь день.

– Сам знаешь, Андрей Михалыч, хлопотно мне отсюда вырваться посреди года, да и вы покоя не даете – все везете мне *новых*. Вот все ваши сюрпризы.

Туманов прищурился и потоптался на месте, словно конь под Буденным, как любила приговаривать Федосья.

– Эх, не меняешься ты, Григорий Александрович! – Он хлопнул Ларионова по плечу. – А вот время меняется, Гриша.

Ларионов окинул быстрым взглядом вновь прибывших заключенных, которых конвой строил впереди колонны старых, смиренно изнывавших уже час на холоде: стоял октябрь, но по утрам и вечерами было, по обыкновению, морозно и сыро.

– Ладно, делай обход и принимай, а потом потолкуем за обедом, – сказал Туманов, и Ларионов кивнул Грязлову, ожидавшему команду.

– Равняйся! Смирно!

Все, кроме новых женщин, подтянулись.

– Это и к вам относится, контра! – рявкнул Грязлов.

Шеренга из десяти женщин заколыхалась. Туманов и Ларионов, пока шла переключка, медленно шагали вдоль построения гарнизона, затем перекинулись на заключенных: Ларионов чуть впереди, за ним Туманов, внимательно разглядывающий женщин в линялых ватниках и косынках. Сразу за полковником, словно прилипнув к нему, следовал Грязлов. Он неотрывно следил за выражением лица Туманова, пытаясь угадать мысли и намерения большого человека из Москвы.

Почти в центре шеренги Туманов заметил статную девушку с ямочкой на щеке, тоже одетую в телогрейку и косынку, непринужденно и весело притоптывающую валенками, нагло, но дружелюбно ему улыбаясь. Брови Туманова поползли вверх, словно он не мог поверить, что среди всех этих несчастных, серых уголовниц и контры могла очутиться такая птица. Грязлов поспешно шепнул ему что-то, после чего Туманов затрясся от смеха, как добронравный и, по былым временам, развратный старик, и окликнул Ларионова:

– А ты молодец, Григорий Александрович! Ох, молодец!

Ларионов усмехнулся, но даже не посмотрел на Анисью, не сводившую с него глаз, а потом обратился к Грязлову:

– Ну, кто там у нас сегодня?

– Вот, товарищ майор, – сказал Грязлов, приближаясь к шеренге с новенькими, – вся контра построена.

Ларионов поморщился. Затем, даже не глядя в лица новым подопечным, взял список у Кузьмича и бегло окинул его взглядом. «Все те же имена: простые русские, вот и татарка тут затесалась. Конечно, и еврейку снова привезли», – думал Ларионов, глядя на лист бумаги, который означал для него лишь новые хлопоты.

– Все живехонькие, – тихо промолвил Кузьмич, – но Рахович... старуху, в лазарет бы...

– Так, – начал Ларионов, – граждане заключенные, будем знакомиться. Обращаться ко мне надлежит «гражданин майор», а зовут меня Ларионов Григорий Александрович...

Ларионов запнулся. Он увидел ноги новеньких. На одной из них, стоявшей с краю тоненькой, постоянно кашляющей девушке, были прохуdivшиеся сапоги – из них торчали тощие лодыжки; рядом устало переминалась кривоногая старуха Рахович в войлочных ботах, а икры ее были обмотаны тряпьем, собранным в поездах; тут же возле нее, поддерживая старуху под

локоть, стояла девушка в туфлях на некогда изящных каблукках, стоптанных на этапе, но все еще выдававших благородное происхождение их обладательницы. Ее худые ноги утонули в трикотажных чулках линялого терракотового цвета, видимо, отданных ей кем-то из сострадания либо содранных с трупа в поезде. Ларионов поднял взгляд на девушку в изящных туфлях. Лицо ее было опущено, но он увидел, как напряженно смотрит она на его хромовые сапоги: хрустящие, новые, вычищенные утром денщиком. Ему стало не по себе от ее пристального взгляда на эти его сапоги. Волосы закрывали почти все ее лицо, ниспадая на него по бокам темными сбившимися, засаленными прядями, нос казался длинным и острым из-за худобы и разлетающихся к вискам широких бровей, неестественно черных на ее бледной коже с землистым оттенком.

Ларионов бросил взгляд на список, стараясь угадать имя девушки.

– Биссер Инесса, – начал он, взглядывая каждый раз на ответное: «Это я».

– Отвечать просто – я, – оборвал Грязлов.

– Урманова Забута.

– Я!

«Вот она, Забута – татарка, луноликая и белая, с косами до пояса, а Грязлов слюной истекает, – неслось в голове у Ларионова. – Не видать тебе татарина ближайšie пять лет, а то и больше».

– Рябова Наталья.

– Я...

– Рахович Бася.

– Есть. Она плохо слышит и больна.

– Молча-ать! – рявкнул Грязлов.

– Не смейте грубить.

А это что? Ларионов очнулся. Что это была за реплика?

– Шаг вперед! – послышался голос Грязлова.

Ларионов почувствовал, что это была *она*. Он еще в ее взгляде на его сапоги почувствовал ненависть к нему, к этому лагерю, ко всем, кто тут есть. Вперед шагнула девушка в изящной обуви, все так же не отрывая от земли взгляда.

– Имя? – слышался все тот же гнусавый голос Грязлова. – Алексáндрова Ирина? Черт! Даже имя записать не могут нормально.

«Вот! – пронеслось в голове Ларионова. – Простое имя, словно день – ясный и чистый».

– И что вот с такими прикажете делать? – ухмыльнулся Грязлов, глядя на Туманова. – Григорий Александрович, товарищ майор, в изолятор эту девку?

– Да ладно тебе, товарищ Грязлов, – бросил небрежно и шутливо Туманов. – Девушка в туфельках таких нежных, разве ей место в изоляторе? Вот смотрю я когда на таких хрупких девушек и женщин, даже, честное слово, старух каких-то!.. изумляюсь каждый раз – как же их, таких, угораздило-то в черные дела влезть. Им бы учиться да работать честно на благо нашей Отчизны, а они все – то украсть, то обманым путем что-то присвоить, а то еще хуже, – вознес пухлый палец к небу Туманов, – зло задумать против народа советского...

Ларионов слушал Туманова, но не мог отделаться от неприятного ощущения, которое все нарастало в нем и постепенно становилось и вовсе невыносимым, когда медленно, пока Туманов говорил, *она* вдруг подняла глаза и на него, Ларионова, смотрела – молча, недолго, но пристально и неподвижно, а потом так же медленно опустила взгляд. Ларионов ощутил смятение, и это его обозлило. Только не смятение! Смятению не должно быть места в его душе. Он все понимал и знал. К чему эта дерзкая девчонка безмолвно упрекнула его, бросила вызов его укладу и тому, чем жили и Туманов, и Грязлов, и многие – все – люди вокруг? Она была в его власти, так что же, она не знала об этом?! Ларионов почувствовал, как кровь прилила к его лицу и сердцу.

– Все верно, – вдруг резко сказал он. – Фролов, в изолятор на три дня гражданку Александрову.

По рядам осужденных пролетел озадаченный гул. Некоторые прикрыли рот руками от неожиданности. Они знали своего Ларионова уже давно, некоторые три года, и он не славился жестокостью, хотя был сух и строг. Федосья издалека изумленно смотрела на Ларионова и на Туманова, который теперь казался немного растерянным.

– А теперь прошу откусать завтраку, – вмешался, покашливая, Кузьмич.

– Да уж пора, – сказал нерешительно Туманов. – А то что-то зябко стало.

– А со строем-то что? – спросил робко Паздеев вслед уходящему в сторону избы начальству.

– А-а... – Туманов махнул рукой. – Командуй – вольно.

– Вольно! – послышался голос Грязлова. – Разойдись по баракам.

– А заключенной Александровой-то валенки выдать? – снова робко спросил Паздеев из-за плеча Ларионова. – Туфли все же у нее, м-м-м, не по погоде.

Ларионов не повернулся. Грязлов сверкнул глазами.

– Мало тебе прикладом досталось?! Фролов пусть ее в изолятор сведет, а вы остальных – в первый. Федосья и Загурская разберутся.

Фролов подтолкнул Александрову вперед рукояткой винтовки по направлению к изолятору. Паздеев смотрел некоторое время ей вслед, особенно как каблучки ее оставляли следы на тонком слое снега на плацу, но вышагивали ровно. Паздеев угадал решимость в этой ровной походке человека, измученного этапом. Измученного, но все еще несломленного.

Кузьмич похлопал Паздеева по плечу.

– Что-то, Дениска, хозяйину шлея сегодня под хвост попала. Анисья, что ли, не в радость стала.

– Да что вы про Анисью все, – вдруг раздраженно пробурчал Паздеев. – Разве дело в ней, дед Макар? И кто она вообще такая?

Кузьмич прищурился и усмехнулся в усы.

– Красивая. Да ты не боись, *тухли* я ей заменить сам прикажу. Федосья валенки снесет. – Кузьмич наклонил голову к Паздееву: – Что, пришласть тебе, что ли, эта худосочная девка?

Паздеев встрепенулся.

– Да вы что, дед Макар?! Я...

– Да будя тебе, я ж шуткую. Эх, дурак ты, Дениска. Все одно – еще соплячник, а туда же – *философствовать*. Пойду в избу, там уж накрыли все к *ихнему* приезду. А вон и Федосья спешит. Сейчас и меня хватятся. А ты, давай, сторожи. Салажка... – Кузьмич махнул потоповски рукой и вперевалку направился к избе.

\* \* \*

– Ну, показывай свои хоромы. – Туманов вошел в избу и скинул шинель, подхваченную тут же Касымовым. – А изба горячая, отменная. Как и барышня!

Туманов рассмеялся, а Ларионов неожиданно для себя самого вздрогнул.

– Кто же? – спросил он поспешно и угрюмо.

– Да ты, брат, что-то не в духе сегодня, смотрю, – сказал Туманов, похлопывая Ларионова по спине. – Я когда обход делал... правда ли, что та смуглянка, глаза с поволокой, твоя пассия нынешняя?

Ларионов передернулся.

– Да ты, брат, что – захворал?! – не выдержал Туманов.

Федосья переглянулась с Валькой-кухаркой с растрепанными за день волосами цвета потемневшего лисьего хвоста и толкнула ее своим избыточным бедром.

– Прошу к столу, откусать завтраку, – поспешно бросилась навстречу гостям Валька.

Вслед за Тумановым, Ларионовым и Грязловым вошли еще три офицера, сопровождавшие Туманова, потом показался Кузьмич. Федосья всех пригласила в просторную кухню, служившую заодно и столовой, и гостиной, где посередине под абажуром был готов уже широкий сосновый табльдот, накрытый белой свежей скатертью и уставленный разными блюдами с закусками.

– Ох, и голоден же я! – воскликнул Туманов, потирая руки. – А мы не с пустыми руками, однако. Сафонов, давай коробки, выкладывай.

Офицер с рыжими усами вносил коробки одну за другой и ставил их на буфет и на пол.

– Девушки, раз-гру-жай! – весело сказал он, и Федосья с Валькой бросились доставать московские гостинцы.

Там была и коробка с бутылками – коньяки армянские, какие любил Ларионов, а особенно один из заграницы, SAMUS, который Туманов называл «Самус», – и консервы, и сыры, и колбасы, и банки с икрой, и лукум, и цитрусовые цукаты, и марципаны, и миндаль с сушеными абрикосами и черносливом.

После завтрака Туманов по уставу делал обход лагеря. Они долго сидели в администрации, поверхностно и нехотя ковыряясь в бумагах лагпункта под незримым руководством расконвоированной заключенной Жанны Рокотянской – юной стенографистки, которая в силу своей работы знала и помнила больше любого заместителя НКВД. Затем Туманов пространно обсуждал дела третьего отдела с его начальником – капитаном Губиной, от которой он с трудом спасся, сославшись на сильную головную боль. Обед вынуждены были пропустить, и день незаметно переплавился в вечер.

Члены комиссии вернулись в избу Ларионова, где бессменные Федосья и Валька Комарова уже налаживали ужин.

– Только уважь, – обняв Ларионова, сказал Туманов, – пригласи и дам к застолью. Мы и так уж намаялись с этим обозом и зловонными этапными, да и твои высушили мне весь мозг – хочется приятного общества, Гриша. Чтобы и сладостями угостить дам, и послушать их речь, и спеть вместе, и танго можно... Давно не щупал приятных форм, понимаешь. В Москве не до того, и жеманные там бабы – до тошноты!

Туманов и офицеры захохотали. Ларионов насмешливо улыбался, ясно понимая желание Туманова.

– Только, Гриша, – сказал Туманов заговорщически, – прошу покорно самых соблазнительных и веселых барышень позвать, чтобы сгладить этот *инцидент* на построении, понимаешь. Как-то нехорошо вышло... И, брат, уважь любопытство – позови и куропаточку свою волоокую!

Офицеры снова засмеялись. Ларионов бросил взгляд на Федосью, та кивнула и быстро исчезла в сенях.

Спустя полчаса, когда офицеры, словно куда-то опаздывая, выпили несколько тостов и закусили, Федосья вернулась, а за ней выступали девушки. Впереди – Анисья, уже не в серых телогрейке и косынке, а в шелковом платье, чулках и шали через одно плечо; губы ее горели от алой помады, темные кудри у висков были подобраны вверх, а остальные ниспадали по плечам – шла, потряхивая серьгами, которые Ларионов ей привез этим летом из Москвы. За ней – еще три девушки-заключенные, одетые скромнее, но тоже уже не так, как днем на построении. Анисья прямоком прошла к Туманову и подала ему пальчики с аккуратным маникюром, кокетливо оглядывая его пастозное лицо. Туманов поцеловал ей руку, словно и не было меж ними той пропасти, что ощущалась сегодня на плацу, когда одни были по ту, а другие по сю сторону закона. Все они теперь оказались заключены в одну душную комнату, в общее пространство застолья, забытья и похоти.

Анисья уселась между Тумановым и Ларионовым; по другую сторону от Туманова расположилась рыжеволосая и конопатая, но красивая лицом девушка. Она представилась как Анджелина (Ларионов знал ее послужной список, некогда шокировавший его: то была проститутка и воровка из Ленинграда Ангелина Добронрав, она же Джакелла Марлизон, она же Ангу Вандербилд, она же Джени Джолджоли, урожденная Евгения Акулич из Калужской области, которая в лагере сожительствовала с «администрацией»). Вторая девушка села рядом с Сафоновым и назвалась Надеждой Семеновной (Ларионов знал ее как осужденную за фарцовку краденого на московских рынках, а также за проституцию). Сам он однажды, напившись еще в начале своего пребывания в лагере, вызвал ее в свой дом и переспал с нею. Третья под села к офицеру Нагибину, молодому еще человеку, у которого только проросли жидкие усики, и представилась Раисой (Ларионов знал, что она чистила с любовником квартиры в Сокольниках, за что и была приговорена к пяти годам исправительных работ; и работа эта заключалась в том, чтобы усладить старших в Охре). Ларионову было смешно смотреть на этих принцесс зоны: проститутки, воровки и мошенницы, охмуряющих офицеров НКВД, – было в этом что-то адское, зловещее, неизбежное и в то же время смешное и досадное.

Посреди веселья и банкета Туманов нагнулся к Ларионову, который мало ел и много пил весь вечер:

– А Анисья хороша, слов нет! Но скажи мне, Гриша, отчего ни одной «полит»?

Ларионов сказался хмурым.

– Они не любят *сотрудничать*, – ответил он сухо.

– Так это же должно быть еще интереснее! Плохо проводите перековку классового врага, товарищ майор, – захохотал Туманов. – А Анисья-то тебя как облизывает и обхаживает. Повезло ж тебе.

Ларионов бросил взгляд на любовницу, танцевавшую с Сафоновым. Сколько раз он видел ее такую – подвыпившей, блестящей своей яркой, кричащей красотой, соблазнительной и развратной, готовой все с ним делать ночь напролет – выполнять любые его прихоти и терпеть пьяный угар и брань, его равнодушие и скотство. Он знал ее тело – оно было красиво, совершенно и молодо, как извивалось оно в его руках и просило еще ласк. И наутро он просыпался, весь измазанный ее помадой и пропитавшийся ее запахом. И сегодня ночью она снова останется в его доме. И половица скрипнет за дверью его спальни, когда Федосья, погасив везде свет, соберется в барак, проходя мимо его комнаты, откуда будут слышны бесстыдные стоны и звуки прелюбодеяния его с Анисьей. Он будет пьян, и она будет блеснуть в ночи от страсти к нему. Что ж в этом было дурного? Ведь всем от этого было хорошо. Тогда что же в этом плохого? Что? Отчего в трезвом уме Ларионов был настолько всем недоволен и его раздражало все, что он видел и слышал? Даже его любовница!

Ларионов смотрел на ноги Анисьи в новых лаковых туфлях «мэри-джейн», пока та плясала с Сафоновым, и не мог отделаться от мыслей о тех, других ногах, стоявших на плацу, особенно от *ее* стоптанных туфель и старушечьих чулок, спущенных, прохудившихся и выцветших от времени и отвратительных гигиенических сложностей этапа. Ларионов теперь представлял не только ее туфли, но и этот ее страшный взгляд сквозь него. Отчего она выбрала его? Отчего не на Туманова смотрела так, не на Грязлова?! Зачем он?

Ларионов налил в стакан водки и быстро его осушил. К черту все эти мысли – напиться и забыться с Анисьей! Вот оно. Она – Александра – пусть сидит в изоляторе, пусть узнает с первого дня, что он теперь ее хозяин, он тут – все. Ларионов налил еще. Поднося стакан к губам, он поймал на себе взгляд Федосьи, которая тут же засуетилась и начала греметь бутылками у буфета. «Что еще ей в голову взбрело?» – насторожился Ларионов. Он странным образом не мог избавиться от волнения в груди, которое охватило его сегодня на плацу. Не три, а пять дней надо ей дать в изоляторе – и точка.

Анисья смотрела на Ларионова, он же равнодушнопил, иногда мрачно поглядывая на веселящегося Туманова.

– Ты что ж, голубчик мой, совсем невесел? – Анисья подошла к Ларионову и обвила его шею руками, склоняясь близко к лицу. – Аль не любя я тебе сегодня?

Ларионов смотрел ей в декольте, туда, где вздымалась ее грудь, дыша на него жаром, точно кузнечные мехи.

– Ступай, Анисья, попляши еще. Мне надо обмолвиться словом с Тумановым, а потом разойдемся, и ты останешься, – сухо сказал он, высвобождаясь из-под ее рук.

Анисья поцеловала его в губы, грубо и страстно, не ожидая ответа.

– Ох, и люблю ж я тебя, Гриша!

Она пустилась в пляс еще порывистее и веселее, смеясь и сверкая, как подвески в ее ушах, а Ларионов неловко вытер салфеткой рот. Федосья смеялась в углу, подталкивая Вальку:

– Ай, Анисьюшка, давай, наподдай жару!

– Ой, Анисья, хмурится что-то твой хозяин, – хохотала Валька.

Федосья пихнула ее в бок.

– Молчи уж, и так сегодня гроза была, как бы чего не накликасть.

– А что такого? – Валька закинула в рот лукум. – Ой, сладкий какой – страсть! Чайку бы хлебнуть.

– Григорий-то, вон, чернее тучи. Отродясь его таким не видала.

– Начальство, одно слово, – с полным ртом промолвила Валька и забрала самовар. – Пойду, что ли, еще поставлю – все не напьются начальники. А то и надрызгаются, не ровен час, да дрыхнуть изволят.

Ларионов налил себе и Туманову, который все не мог отдышаться от бойкого танца и потел, как старый морж.

– Эх, Гриша, уважил старика! Такие Минервы, понимаешь, я словно заново родился. Такие Олимпиады, понимаешь! А Анисья – красавица! Ей-богу, ты, брат, не прогадал. Как юная куропаточка. Давай завтра баньку натопим, а после тронемся. Не могу уехать от тебя, не попарившись. Заодно и грехи смоем, Гриша!

– Отчего ж не затопить. Дело есть у меня к тебе, Андрей Михалыч, – сказал Ларионов, доливая в стакан себе и Туманову.

– Ой, до дела ли нам сейчас, с Минервами-то?..

– Дело такое, что не требует отлагательства.

– Ну, говори, коли припекло.

– Андрей Михалыч, мне нужны лекарства для больницы. В «мамкином» отделении тоже нет медикаментов, а женщины рожают в год по двадцать. Носить им тут трудно, а рожают – кто приезжает в положении, а кто и тут тяжелеет. Сложно очень обустроить детские покои. С той зимы уже три младенца умерло. Помоги чем можешь.

Туманов молчал, медленно оглядывая Ларионова.

– Гриша, говорю я тебе, что ты не меняешься. Все такой же романтик.

Ларионов смотрел на Туманова с горькой усмешкой.

– Что ж я, для себя прошу?

– Так лучше бы для себя, Гриша! – не выдержал Туманов. – Для кого просишь? Для воровок, убийц, предателей?!

Ларионов строго молчал, смотря сквозь Туманова и почему-то сейчас представляя взгляд Александровой в сумерках на плацу. Туманов сконфузился.

– Брось, Гриша! Ты мне близок, мы с тобой в Гражданку во как были! Но время, Гриша, время-то какое нынче на дворе. Это тут они хвосты расфуфырили, а там кровью в подвалах харкали!

Ларионов раскурил папиросу и слушал Туманова, прищуриваясь от дыма.

– Знаешь что, Андрей Михалыч...

– Ну что, отец мой? – протянул устало Туманов.

– Бабы эти – мои подопечные, на меня их жизни повесили. Ежели б их хотели уничтожить, то поставили бы к стенке. А так, поскольку их сюда определили и у каждой свой срок, я за них отвечаю. Лекарства нам нужны для них и для детей, про мужиков я уже не говорю, а этим надо. И безотлагательно.

Туманов долго всматривался в лицо Ларионова.

– Эх, Гриша, красивый ты, здоровый, молодой мужик. Начальство тебя уважает, бабы прохода не дают – что ж ты хочешь?

– Со следующей поставкой.

Туманов медленно захохотал, так, словно он был на сцене, – отрывисто и нарочито.

– Уговорил! Измором взял, подлец! Но учти – только за Минерв. Со следующей поставкой не обещаю, а к январю, думаю, поможем. – Туманов нагнулся близко к Ларионову: – Гарем твой мне по душе пришелся. Где же я теперь могу уединиться?

Ларионов посмотрел пристально на Кузьмича, казалось, кемарившего в углу, который тут же подскочил и пригласил Туманова и других осмотреть опочивальни. Туманову дали комнату в избе, Сафонова определили в бане, а молодой офицер Нагибин, уже окончательно пьяный, был устроен на диване в кабинете Ларионова. Федосья поставила рядом ведро на случай, если того ночью стошнит.

К двум часам утра все затихло, только Фараон надрылся: лаял у бани, почуяв чужих. Потом Кузьмич накричал на него по-свойски, и Фараон улегся. Ларионов лежал в тишине своей спальни, на груди его почивала Анисья. Ларионов никак не мог заснуть: ему было жарко и беспокойно.

Высвободившись из-под руки Анисьи, он набросил медвежий тулуп и, раскурив папиросу, вышел на крыльцо. Мороз для октября схватился крепкий для этих краев, но тулуп и выпитое за ужином не давали ему почувствовать холод. Он постоял с минуту, резко сошел с крыльца и зашагал через плац, а потом мимо главного (как его прозвали на зоне) барака № 1 – в бараке в темноте еще гудели голоса. Потом он зашел в здание, где находился штрафной изолятор. Охрана подскочила, но Ларионов приказал им сидеть, а сам прошел внутрь. Заглядывал он в окошко каждой камеры. В третьей камере он увидел Александрову. Она сидела на нарах в телогрейке, поджав ноги, и смотрела перед собой, даже не повернувшись на скрип окошка. На полу возле нар стояли валенки. Ларионов закрыл заслонку и, приказав надзирателю заставить Александрову обуться, вернулся в дом. Долго он еще лежал в теплой постели без сна. Ларионова мучило странное неясное предчувствие – настолько странное, что он не мог понять, хорошее или дурное он предчувствовал.

«А ведь сегодня воскресенье», – подумал Ларионов. Заснул он только к утру.

## Глава 2

В тот вечер, еще до ужина у Ларионова, в первом бараке, куда поместили новеньких, до проверки не стихала жизнь. Клавка Сердючко, домушница, отбывавшая не первый срок, командовала в бараке; она была в авторитете у малокалиберных уголовников и решала все вопросы в своей вотчине согласно ею определенной, Клавкиной философии и законам зоны. Начальник третьего отдела лагпункта капитан Любовь Степановна Губина, которую заключенные прозвали за глаза Губа или «мама Люба», пришла проверить, выдали ли новым энкам униформу и сменную одежду, вонявшую сыростью и дешевым мылом, завернутым в нее, и по паре валенок, которые теперь распределяла дневальная барака Анна Ивановна Балаян-Загурская – благодушная, но грозная хранительница порядка.

– Федосья и Балаян при делах, – сказала Губина сухо. – Клавдия, займись ими, что ли. Воняют больно.

Инесса Павловна Биссер, в прошлой жизни преподавательница музыки в консерватории в Москве, еврейка лет сорока пяти, статная и высоко несшая свою аккуратную голову с вьющимися волосами темно-рыжего цвета, остриженными до скул, оставила на нарах старуху Изольду Каплан, которую народ прозвал Баронессой, и выступила перед капитаном Губиной:

– А отчего ж не затопить баню или душ не предоставить? – спросила она мягким спокойным голосом, который так любили ее ученики. – Мы на этапе натерпелись таких лишений...

Губина хмыкнула.

– Вам тут не воды, и вы не дамочка какая-нибудь, – резко оборвала она Инессу Павловну, – а заключенная. Все еще думаете, вам кофию в постель подадут утром?

Заключенные засмеялись, Клавка слезла с нар и обошла Инессу Павловну.

– Да уж, точно, смердят, как псины. Видать, хорошо вас намурыжили.

Инесса Павловна смотрела прямо на Губину, будто не замечая слов и действий Сердючки.

– Так что ж с процедурами?

– У нас по заказу баню не топят, – небрежно ответила Губина. – День потерпите – не помрете. Не бойсь, Биссер, завтра вас определят, кто куда работать пойдет, там так нахрячесь за день, что и баню не захотите.

Тонкая девушка в прохудившихся сапогах оживилась и перестала кашлять.

– А доктора можно будет завтра позвать? – спросила она обреченно и робко.

– Рябова? – спросила Губина все тем же бесстрастным голосом.

– Да, Рябова Наташа.

– Видно будет. Как начальство прикажет. Завтра на разводе майор Ларионов всех распределит. Одно что сегодня вам дали отоспаться...<sup>4</sup>

– А Рахович? – быстро спросила Инесса Биссер. – Она очень слаба, ей тоже нужен врач.

– Это Бася, что ли? – с усмешкой спросила Губина. – Ее велено в лазарет свезти.

– Как замечательно, – оживилась Инесса Павловна. – А что же с Ириной Александровой?

Она совсем плохо одета.

Губина снова хмыкнула и вышла.

– А ты что, музыкантша, значит? – спросила Клавка. – Я музыку страсть как люблю! И на чем же ты бренчать умеешь?

Инесса Павловна невозмутимо смотрела на Сердючку.

– Я играю на фортепиано, любезная.

– Важно. Уважаю я таких людей, которые могут ручками работать. Стало быть, коллеги мы с тобой, Инесса Пална.

---

<sup>4</sup> До 1939 года в ИТЛ был один выходной день.

Инесса Биссер недоумевающе посмотрела на Клаву, сохраняя прохладную сдержанность.  
– Я ведь тоже руками работаю, профессия у меня такая – ручная.

Заключенные заготовали.

Вдруг Инесса Павловна улыбнулась. Разве могла она еще год назад, в тридцать шестом, отдыхая с мужем Львом Ильичом в Кисловодске, одетая в широкополую шляпу с лентой, легкий сарафан, который так нравился Леве, предположить, что их жизни так страшно изменятся; что Льва осудят и сошлют отдельно от нее в Томск, а ее отправят сюда, в лагпункт у Новосибирска, и определят в этот барак с уголовниками и проститутками, и что Клавдия Сердючко, воровка, назовет ее своей коллегой. Этому теперь можно было только позабавиться, иначе горе не даст ей выжить, чтобы однажды встретиться слевой.

– А что, майор Ларионов такой деспот? – спросила тихо Наташа Рябова, которой на этапе становилось все хуже.

С верхней над ней нары свесилась Саша, работавшая лагерной медсестрой.

– Да нет, что ты. Ларионов – мужик нормальный, мы его все любим, особенно некоторые.

По бараку пробежал смех. С нар из дальнего угла вальяжно сползла Анисья.

– Что ты тут треплешь? – сказала она с улыбкой. – Все завидуете, что я с ним живу.

Сердючка фыркнула и забралась на свою вагонку.

– Шалавам завидовать! – громко сказала она.

– Дура, змея подколодная! – закричала на нее Анисья, и лицо ее сделалось злым, некрасивым, как лисья мордочка, когда та щетинится. – От зависти зеленеешь! Все злобой исходишь, что меня любит майор, а ты с Охрой перепихиваешься.

Сердючка соскочила с вагонки и пошла грудью на Анисью.

– Ну что, в собачник захотела? Давай, бей! Сейчас туда же отправишься, куда эту гордичку упекли! – кричала Анисья.

– Что? – вдруг проснулась Баронесса. – Пирог напекли?

– Да лежите вы, бабуся. Туда же... – испуганно прошептала Рябова.

– Ну-ка! – слышалось громогласное Балаян-Загурской.

В барак ворвался холодный воздух, на пороге показалась озабоченная и покрасневшая Федосья.

– Тихо вам, клушки! Анисья, Гелька, Надька и Райка, ну-ка собирайтесь – начальство вызывает. Ужин у них.

Федосья уселась на край вагонки и пыхтела.

– День сегодня тяжелый: Александрыч что-то не в духе совсем, и девку закрыл в изолятор ни за что ни про что.

Анисья приготовила зеркало и яркую помаду.

– Нечего было выпячиваться, тоже мне – заступница.

– Тут не в ней дело, – подседа к ним бригадирша Варвара, – тут что-то с Ларионовым. Вот дела! Он на нее не на шутку рассерчал.

Анисья подкручивала волосы у висков и усмехалась. Клавка сердито смотрела на Анисью поверх нар.

– Дело простое, – вдруг сказала она, поджимая губы и не сводя глаз с Анисьи. – Понравилась она ему.

Анисья оторвалась от зеркала и повернулась к бабам. Все молчали, удивленные неожиданной провокацией Сердючки. Анисья пустилась смеяться, заливисто и нарочито, открывая свои безупречные влажные зубки.

– Отродясь такой глупости не слыхала! Ты уж от злобы не найдешь, что поумнее сочинить. Было бы еще на что глядеть – а то глаза одни торчат и спесь. Да скоро тут майор с нее спесь собьет – посидит недельку в ШИЗО, как шелковая станет. Увидите!

Федосья отхлебнула чая из граненого стакана на шатающемся столике. Бригадирша Варвара, уже шестой год работавшая на делянке, покачала головой со знанием дела.

– Не скажи, Анисья. Вот была одна тут, Алена, помнишь, Федосья? Так она меньше Александровой была, худая – в чем дух держался, – а как на делянке у меня работала. Померла она, правда, быстро: силы иссякли, чахоточная она была.

Наташа Рябова вздрогнула. Инесса Павловна взяла ее за руку. Анисья накрасила лицо, прихорошилась и с подругами вместе собралась уходить.

– Идем, Федосья, пусть сочиняют. А мы – дамы важные, нам начальство столы накрывает, ручки целует, одаривает с ног до головы. А тем, кто «нравится», – парашу в изоляторе мыть.

Девушки засмеялись и вышли. Клава плюнула в их сторону с нар.

– Все шлендры.

– А сама-то что? – протянула, закуривая папиросу, Варвара-бригадирша. – Все мы, бабы, мужниными хотим быть. Нам, бабам, что греха таить, что им, кабелиям, тоже надо этого дела. Да и дерьмо вывозить за всеми да на делянке здоровье гробить – не всяк захочет и сможет, верно?

– Я без понта, Варя. Грех за мной тоже водится – хожу я к мужикам, бывает. А что? Я живая! У меня на воле муж есть.

Бабы захихикали.

– Вот те крест, есть! – обиделась Клава. – Да только он далече – у него досюда точно не достанет, а мне охото.

Бабы бросились визжать.

– И то верно, – прищурилась бригадирша.

– Только я не шкура какая, – продолжала Клава, перехватив папиросу у бригадирши и затягиваясь со сноровкой и удовольствием. – Я любовью не прикрываюсь, не жеманничаю. Надо для удовольствия, так Клава – пожалуйста, а холопствовать и нос задирать, как Анисья – не по мне. Придумала тоже – любовь с майором крутить. Да что он про любовь знает? Он же мусор. Все они супостаты! Народу вон мрет сколько по тюрьмам да зонам.

Инесса Павловна внимательно слушала бабий разговор, протирая свои изящные очки, привезенные Левушкой из парижской командировки.

– А позвольте спросить у вас, Клавдия, – вдруг вторглась в их разговор она. – Отчего ж тогда майор Ларионов не деспот?

Клава насупилась, то ли думая, что в вопросе Инессы был подвох, то ли сама сомневаясь в своих чувствах к Ларионову и к жизни в лагпункте вообще.

– Я вот как думаю, Инесса Павловна, – сказала Клава серьезно, почувствовав гордость от того, что ученая особа заинтересовалась ее мнением, – Ларионов и правда мужик неплохой: красив собой, умный такой; бывает, и пошутит, и не приказывает бить или истязать заключенных. Но иногда враз меняется, как будто звереет. Вот и сегодня на плацу мог ведь Александрову простить, а он взял и кинул ее в изолятор. Вот я и думаю, каков бы тут ни был человек, убить нас у любого из них рука подымется. А мужики вообще все гады. Как соблазнить – и вином угостят, и в ресторацию сводить даже могут, а как поматросят – грязь ты под ногами у них, пустое, значит, место.

Инесса Павловна пожала плечами и с доброй улыбкой смотрела на Клавку.

– Вы заблуждаетесь, мне кажется, насчет всех. Разве дело в том, кто я – мужчина или женщина? Я в конце концов к душе своей обращусь, в ней и ответы все. А душа не имеет ни пола, ни цвета, ни положения.

– Вот правда ваша! – воскликнула Сашка. – Мне мать тоже всегда говорила – не смотри на одежду и чины, гляди в душу.

– А вон их душа-то вся, – лениво потянулась бригадирша, – с Анисьей да начальством водку хлыщут, а девка в изоляторе загибается, чай уж замерзла напрочь. Чахоткой заболает, как есть, и помрет ненароком до Нового года.

Рябова снова вздрогнула. Старуха Баронесса открыла глаза.

– Я, спрашиваешь, какого года? Так я уж сама не помню, касатка.

– Молчи, глухая тетеря, – пробурчала Клавка.

– Что ж ты так грубо, она же нездорова, – тихо сказала Лариса Ломакина, политзаключенная, прибывшая недавно с обозом с мертвой старухой.

Дверь снова запахнулась, и в барак забежала субтильная, энергичная девушка двадцати лет, а на вид – пятнадцати.

– Мороз – страсть! – защебетала она громко и очень быстро. Суетливо она распаковала какой-то сверток и достала оттуда консервы и хлеб. – Эх, девчата, налетай! Наначки вам...

Женщины все вмиг слетелись к столику. Клава спрыгнула на пол и сделала всем знак угомониться.

– Что повскакивали?! Пусты козла в огород. Сама же, знаете, распределю все.

– А в избе что творится! – продолжала тараторить Курочкина. – Григорий Александрович чернее тучи сидит, а Аниська-то отплясывает, хвостом машет, вот так: туда-сюда, туда-сюда, а Надька пьяная какая! Свалилась под стол: ноги в разные стороны, чулки наружу, на нее охламон из Москвы навалился – тоже пьянящий... Но Анисья...

Она кинулась выхаживать вдоль прохода между нарами, передразнивая Анисью. Бригадирша лягнула ее слегка под зад.

– Полька, кончай трещать. Показывай, чего притаранила. А ты, Клавка, утихни. Мы и сами – с усами.

Полька Курочкина, дочь расстрелянного генерала РККА, прибывшая весной, знала все, что происходило сейчас в лагпункте, – она была уже «своя». Женщины начали распределять, кому, что и когда причитается. Новеньким ничего не перепало, так как им еще предстояло пройти проверку на зоне. Однако именно они и были самые голодные. Клавка, растроганная тем, что Инесса Павловна была «музыкантшей», решила поделиться с ней ломтем буханки, вынесенной с кухни Ларионова при пособничестве Федосьи и Вальки Комаровой и с молчаливого согласия Кузьмича.

Инесса Павловна была счастлива таким благодеянием, но лица кашляющей Наташи Рябовой и кричавшей Баронессы вызывали в ней такую жалость и негодование, что она разделила кусок между ними и сама легла на нары, чтобы не думать о еде. Это было даже несложно. Скверный запах распространялся отовсюду: запах грязных тел, гадкого мыла, прогорклой махорки и нищеты – запах, который был незнаком Инессе Павловне прежде, до тюрьмы и этапа.

Клавка зарычала и отломила Инессе другой кусок.

– И вот меня на кухню тетя Федосья пустила, а там такое! Начальство привезло всяких вкусностей из самой Москвы. Все на стол собрано, остальное в амбар упрятано. И нам чудес перепало! – стрекотала Полька, выкладывая шпроты на краюшку хлеба, жадно облизывая пальцы. – Ой! Домом пахнет, Новым годом. Мама шпроты на стол на Новый год ставила... А там гулянка надолго у Григорий Саныча. Федосья пригрозила, чтобы спать все легли. Проверку Ларионов отменил. Как пить дать завтра шмонать будут...

Полька окинула взглядом лежащих ничком новеньких.

– Вы угощайтесь! – попросила она.

– Раз такая добрая, свое отдавай, – буркнула Клавка.

– Да мне не жаль. Ведь голодные совсем они.

Полька быстро распределила свои хлеб и шпроты, потом отдала Наташе Рябовой шоколад.

– Мама мне всегда от кашля шоколад давала! Бери, будет хорошо. Я сама по этапу шла, я знаю, как тяжело...

– Умолкни ты уже, – строго сказала Клавка. – Ладно, вот что. Пусть все жрать садятся.

Новенькие молча окружили стол, и все стали есть в тишине. В других углах на нарах заключенные тоже ели, молча, иногда бренчали банки и кружки, иногда кто-то ронял фразу.

– Да вы не трухайте, – сказала Клавка, облизывая пальцы и обращая эти слова новеньким. – Завтра распределят, там видно будет. Ларионов правда мужик не злобный. Всякое бывает, работа у него тоже нервная. Рябову на делянку он не пошлет, а вот Урманову может.

– А что меня? – недовольно спросила Забута.

– Сильная ты, здоровая. Вон – румянец во всю щеку. Видать, жрать у вас есть что в Татарии.

– Я из Тамбовской губернии, – сказала Забута строго.

– Ишь, не зря про вашу сестру бытуют слухи, что вы строптивы, – засмеялась Варвара-бригадирша, и вместе с ней, уже как по привычке, все женщины, сидевшие в проходе, синхронно задрали ноги, чтобы по нему могли совершить свой вечерний молитвенный моцион мать Вероника и мать Ефимия – две местные монахини.

Забута отпила суррогатный чай из алюминиевой кружки Курочкиной и промолчала.

Инесса Павловна думала, как странно, что эти непонятные ей люди так скоро стали частью ее жизни. И никто не спрашивал, кто и почему здесь оказался. Она понимала, что все это еще много раз будет обсуждаться, но все это не так теперь стало важно, как то, что каждый из них принес в этот мир за колючей проволокой. Происхождение и прошлая жизнь теперь ценны были только пригодными для выживания знаниями и качествами, но еще важнее были их душевные, человеческие силы, которые могли быть и у этой воровки-рецидивистки, и у больной Рябовой, и у юной Курочкиной, и у нее самой, дочери известного русского музыканта, жены хорошего хирурга, осужденного властью, которую он спасал. Их звания и заслуги теперь не имели важности в лагунке, где каждый был за себя, где нужно было заново определять свое место и положение, а может, и искать свое истинное предназначение.

Только после двенадцати разговоры пошли на убыль.

– А здорово все-таки сегодня Александрова оборвала Грязлова, – тихо сказала Курочкина. – Я заметила, что Денису это понравилось.

– Поздееву, что ли? – усмехнулась бригадирша. – Слабак. А ты что, глаз на него положила? Растяпа. Лучше уж Ванька Федотов, тот хоть видный. А этот – вожа и сопляк. Дрыщ!

– Глупая ты, тетя Варя! – заворчала Польшка. – Нужен он больно! Да и охранник он, что мне в нем?

– Ишь наблюдательная! – захихикала Клавка, покуривая перед сном самокрутку. – Может, еще что заметила, как Ларионов наш Александрову взглядом буравил?

– Да что ты все трюндишь! – шикнула бригадирша. – Сочиняешь, чтобы Анисью позлить. Делать тебе нечего.

– А вот и нечего, – заулыбалась Клавка и откинулась на соломенную подушку, глядя в закопченный потолок. – Что вы понимаете в людях, только и знаете – лес валить. А я психически личность вижу.

Бабы захихикали.

– А что? В моей работе психология на первом месте. Надо понять, что за птица этот или тот человек: стоит его потрошить или он – кукляк, фуфырится. Я фраеров сразу просекаю. Уж я-то знаю, будь здоров, когда у мужика глаз горит.

– Да на эту ль? – качала головой бригадирша. – Анисья-то вон – павлин, что против нее эта пичуга? Коль тебе надобно Анисью довести, тогда ясно. А так все это пустое, сама знаешь.

– Любовь – это печальная и таинственная вещь, – задумчиво произнесла Клавка. – Болезнь... Черт с ними и с Анисьей. А все же завелась сегодня, смерть! Заарканила она Лари-

онова, падлюка. Подола перед ним задирала, чулками щеголяла, а мужику-то много, что ль, надо? Тем более в тоске такой – хоть запей, хоть заблуди.

– Тихо вам! – не выдержала Забуга. – Одно – болтаете весь час!

– Ишь! – засмеялись бабы. – С норовом тоже.

– Слышьте? Фараон брешет, – приподнялась Клавка. – Все падаль чует.

Как успокоился пес, к двум все заснули. Инесса Павловна не спала. Не думала она, что этот первый страшный день в лагере пройдет так обыденно. Ей стало казаться, что уже давно она здесь, бесконечно давно; что все ей уже знакомы, что иначе уже невозможно. Было очень страшно за Ирину в ШИЗО.

## Глава 3

Лагпункт располагался в двухстах тридцати километрах от Новосибирска. Лесоповал был его главным промыслом. В начале тридцатых посреди леса вырубил площадь гектаров в десять, обнесли колючей проволокой и построили бараки для заключенных, потом бараки пристраивались. После того как сожгли деревянный изолятор, пригнали мужиков, вольнонаемных из деревни в двадцати километрах от лагпункта, которую все звали Сухой овраг, и они построили здание под изолятор из самана<sup>5</sup>. Поскольку деревня была далеко от лагпункта и заключенные неоднократно устраивали побеги, в Новосибирске было принято решение построить жилье для начальника, которым теперь был Ларионов, в самой зоне. Потом появились баня на холме и бани для эков, пристройки для администрации и Охры, казарма, оружейный склад, пищеблок, где готовили для зоны и ближних делянок, и маленький медпункт с пятью койками, где теперь работала медсестра Сашка. Серьезно больных Сашка сплавляла в Сухой овраг, в больницу, построенную после долгих битв Ларионова с начальством.

Прежде, когда возили в Новосибирск, некоторые умирали по дороге, особенно зимой. Ларионов уговорил начальство через Туманова открыть стационар в Сухом овраге и отправил туда своего заключенного врача-немца Пруста и с ним медсестру Марту, литовку, – оба расконвоированные. В больнице дежурила Охра.

Электричество в лагпункт обещали провести уже который год, и Ларионов писал бесконечные жалобы и рапорты. Год назад наконец начали что-то предпринимать, но так и не довели кабель от Сухого оврага до лагпункта. В лагпункте работали дизельные генераторы, от которых было шумно и дымно. Приходилось их использовать по надобности, так как они потребляли много солярки и тархтели. Генераторы в основном питали самые важные объекты, включая дом Ларионова, фонари и прожектора на основных дозорных вышках при въезде в лагпункт. Без острой необходимости их отключали и использовали масляные лампы и керосинки; в бараках топили самодельные буржуйки, от которых тоже шел хоть какой-то свет.

Не выделяли лагпункту и транспорт, и приходилось передвигаться на телегах и санях, а также одиночных лошадях. Ларионов все же смог получить прошлой зимой один грузовик, который уже летом утопил в болотистой канаве пьяный шофер лесобазы Пузенко вместе с новыми матрацами и постельным бельем для лагпункта, сам чудом спасшийся с Божьей помощью и матом. Грузовик извлекли тяговыми силами и отремонтировали. Однако он периодически глох в самый неподходящий момент, и заключенные смеялись, что только отборный мат Пузенко каким-то неведомым образом заставлял колымагу завестись.

Изда Ларионова стояла слева от ворот, в правой стороне на холме – баня для начальства. Напротив дома Ларионова через плац был самый большой и удобный женский барак, где вчера разместились новенькие, рядом с баней внизу кургана – изолятор, а за ним столовая и мойка для заключенных. По левую сторону от ворот, метрах в двухстах от дома Ларионова, на небольшом пригорке располагалась политчасть – убогая библиотека и небольшой недостроенный актовый зал. Дальше, влево от ворот, вперед и за большим женским бараклом шли в глубь зоны остальные бараки – еще десять женских и семнадцать мужских; в самой глубине зоны располагалась конюшня и маленькая беседка, сооруженная по приказу прежнего начальника для своей жены.

Ларионов был в затруднительном положении, потому что в его лагпункте вместе содержались не только и женщины, и мужчины, но и уголовники, и политзаключенные.

Подвох такого положения состоял в том, что политзаключенные, особенно в мужских бараках, постоянно притеснялись уголовниками. Целый год понадобился Ларионову после

---

<sup>5</sup> Кирпич из глины и соломы.

своего назначения, чтобы понять, как управлять этими отношениями. Женщины и мужчины сожительствоваали, рождались дети, которых Ларионов разместил с мамками в отдельном бараке, прозванном барак-СOS. Но год назад ГУЛАГ выдало распоряжение: по достижении детьми возраста четырех лет распределять их по детским домам. ГУЛАГ требовало держать детей отдельно от матерей, а Ларионов тихо сопротивлялся.

Его терзала неизбежность и искусственность разлучения матерей и детей. Каждый день он видел мамок с детьми, которых вскоре он будет вынужден у них отнять и отдать в приют. Ларионов с утра твердо решил, что в бане должен будет уговорить Туманова выбить в центре разрешение оставить детей с матерями хотя бы до школьного возраста (он знал, что не сможет держать их тут до бесконечности). Как человек, хоть и плохо, но помнивший с нежностью мать и ее тепло, Ларионов подспудно пытался продлить эту самую важную в жизни каждого человека близость. Но как уговорить Туманова? Туманов и так согласился помочь вчера с лекарствами.

Все это думал Ларионов, одеваясь утром для построения и развода. Заключение отправлялись каждый на свою работу: «придурки» оставались в лагпункте, остальные – на делянку. Новенькие будут тоже распределены... Ларионов с раздражением думал, куда распределять этих ни на что непригодных новичков. Он знал, что на делянке из вновь прибывших выживут немногие, сначала начнут болеть, потом скатятся до доходяг. Но в лагпункте делать было нечего. В нем и так работало слишком много людей.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.